



ПАМЯТЬ О МЁРТВЫХ В СОВЕТСКОЙ ЛИТЕРАТУРЕ И ЕЁ ЗНАЧЕНИЕ ДЛЯ СОВРЕМЕННОГО ВОСПИТАНИЯ

А. АНДРЮШКОВ

В начале 80-х гг. прошлого века в Нью-Йорке выдающийся русский богослов отец Александр Шмеман провёл три семинара по теме «Литургия смерти и современная культура», в рамках которых он поставил задачу соотнести православное понимание смерти и отношение к мёртвым с теми представлениями, которые стали распространены в западном обществе во второй половине XX века. Только совсем недавно эти семинары были найдены, переведены и опубликованы. В них отец Александр, между прочим, говорит, что «...наша [т. е. современная] культура — первая в долгой истории человечества, которая игнорирует смерть... [создан] «похоронный механизм», чтобы сделать [смерть] как можно более безболезненной, спокойной и незаметной для нас, остающихся жить дальше»¹.

Эти мысли удивительным образом перекликаются с мнением известнейшего американского буддолога Глена Муллина, которое он высказал в 1988 году в своей книге «Смерть и умирание». «Мы — это великая косметическая цивилизация, и нигде

это качество нашей эпохи не проявляется столь очевидно, как в наших подходах и обычаях, относящихся к смерти и умиранию»,² — пишет он, предваряя свои исследования тибетской традиции памяти о смерти. Как бы ни были далеки друг от друга православие и тибетский буддизм, они обнаруживают опасность «замазывания», исключения смерти из общественного сознания, табуирования или, напротив, как говорит Шмеман, «гуманизации» смерти. Опасность прежде всего для становления мировоззрения. «Именно в отношении к смерти раскрывается и определяется понимание... смысла и ценности жизни»³.

В истории России XX века православие пережило страшнейшие потрясения, которые, впрочем, для христианства обыкновенно приводят только к усилению и возрождению. Очень странно было бы говорить о том, что официальная (и неофициальная) советская литература является выразителем православного мировоззрения. Тем не менее, безусловно, советская литература (хорошая советская литература) — это продолжение традиций русского слова. И не только в творчестве тех,

1 Протопресвитер Александр Шмеман. Литургия смерти и современная культура. — М.: ГРАНАТ, 2013. С. 34.

2 Муллин Глен. Смерть и умирание в тибетской традиции. — СПб.: Евразия, 2001.

3 Шмеман, с. 27





кто передал эти традиции в 30–50-х гг. (Мандельштам, Пастернак, Ахматова и некоторые другие), но и тех, кто каким-то чудом перенял их, несмотря на очень тяжёлые 20-е и 30-е гг. В любом случае, как на это указывает В.В. Кожин в своих изысканиях по истории русского слова, ключевой точкой преемственности, когда и официальная, и неофициальная литература обнаружили свои корни в русской литературе, и не только в литературе, но и в мифопоэтике русского слова, является Великая Отечественная война. Все мы помним эти до сих пор пронзающие сердце строки Константина Симонова:

*Как будто за каждую русской околицей,
Крестом своих рук ограждая живых,
Всем миром сойдясь, наши прадеды молятся
За в бога не верящих внуков своих.*

Стихи 1941, страшного, года. Я их выучил ещё в советской школе и только совсем недавно задумался о том, как и почему они были возможны в советском государстве. И дело здесь, конечно, не только в том, что культурная политика СССР в то время официально признала русскую литературу и дореволюционную историю России (в которой были, оказывается, не только декабристы, народники и революционеры, но великие полководцы, все помещики, между прочим). Дело в том, что Великая Отечественная война была осмыслена сразу и очевидно как событие, срастившее до того разорванные фрагменты истории страны. А в опыте народа она была осмыслена в тех образах и метафорах, которые позволяли собрать мёртвых и живых. Прежде всего в образе Родины.

Советская фронтовая и, в целом, военная, посвящённая войне, литература вся насквозь пронизана осознанием Родины как единства мёртвых и живых. Кульминацией этой темы является, конечно, «Я убит подо Ржевом» Александра Трифоновича Твардовского и цикл стихов блокадников — Ольги Берггольц и Веры Инбер. И очень острая тема, сплошная боль — это стихи послевоенных лет о тех, кто погиб. Очень важные для понимания и проживания этого опыта единства и родства мёртвых и живых, которое принесли до конца своей жизни все пережившие годы блокады — стихи мало у нас

цитируемого Юрия Воронова, которому в годы войны было 12–14 лет. У него есть стихотворение «Мёртвые»:

*Мне кажется: когда гремит салют,
Погибшие блокадники встанут.
Они к Неве по улицам идут,
Как все живые. Только не поют.
Не потому, что с нами не хотят,
А потому, что мёртвые молчат.
Мы их не слышим, мы не видим их,
Но мёртвые всегда среди живых.
Идут и смотрят, будто ждут ответ:
Ты этой жизни стоишь или нет?..*

Нам, не ощутившим смерть как почти тотальную реальность ежедневного существования, восстанавливающим опыт войны в лучшем случае из гениальной литературы и из наблюдений за ветеранами (именно наблюдений, потому что помните строки Самойлова: «Если спросят нас гонцы, / Как вы жили, чем вы жили? / Мы помалкиваем или / Кажем шрамы и рубцы») — нам последние строки могут показаться излишне моралистичными. Однако и в стихах Воронова, и в стихах Твардовского, Самойлова, и также остро гениально прожито и понято в стихах и песнях Высоцкого — прежде всего свидетельство души о том, как она в присутствии мёртвых строит свою жизнь. Осмысляет, понимает и строит. А жизнь рассматривается не как неотъемлемое от меня право, а как сокровище, которое надо беречь, нравственно соответствуя ему. Я пока хотел бы выделить в процитированном мной стихотворении Воронова две очень важные мысли: во-первых, факт памяти, которая признаёт объективность существования мёртвых среди живых; во-вторых, их молчание, их бездействие, которое восполняется осознанием того, кто их помнит и видит, цены жизни перед лицом смерти. Это почти прямой стихотворный комментарий к процитированным мной выше строкам отца Александра Шмемана о том, что в отношении к смерти раскрывается понимание смысла и ценности жизни.

Я усилю аналогию между содержанием литературы, посвящённой погибшим на войне, и мифопоэтической религиозной традицией, сославшись на один доклад 2001 года современного русского филолога Ольги Александровны Седаковой, в котором она



обсуждает литургическое сознание, для которого единичкой социума является как раз единство мёртвых и живых: «Мысль об устройстве земного социума была бы неполна, если бы она не имела в виду этой его невидимой части, ушедших, их непрерывающейся связи с живущими, их включённости не только в настоящее, но и в будущее — в земное будущее, как ни странно это звучит — в движение истории к будущему»¹.

Возвращаясь к советской военной поэзии, поэтом, действительно и по праву считающимся наиболее ярким выразителем живой памяти о мёртвых, является Твардовский. И ему принадлежит стихотворение, которое в том числе поможет мне вернуться к российской школе. Это стихотворение «В тот день, когда окончилась война...». Стихотворение, которое является живым размышлением поэта о том, как с окончанием войны рвётся живая связь погибших и живых, связанных фронтовым братством. Эту связь во все дни войны чувствовали многие, не только поэты, но именно поэтам дана власть вплетать в живое русское нетленное слово опыт, делая его нашим культурным наследием. Твардовский в 1948 году в этом стихотворении пророчески сказал о том опыте, который проживают до сих пор в День Победы все ветераны — это опыт прощания с мёртвыми. После которого живая общительность братства распадается и остаётся память. А тогда Твардовский спрашивает о том, зачем нужна эта память.

Действительно, я часто слышал от учителей литературы, что поэтика памяти Твардовского — это почти поэтика болезни, болезненного раздражения души, не пережившей травмы войны. Однако в этом стихотворении Твардовский очень честно пытается осмыслить значение этой памяти. Он перебирает разные варианты, некоторые из которых, к сожалению, сейчас у нас введены в норматив школьных праздников, и отказывается от всех этих вариантов. Так,

он парадоксальным образом отказывается считать значение этой памяти в том, что погибшими даются нам уроки мужества:

*И нам уроки мужества даны
В бессмертье тех, что стали горсткой пыли.
Нет, даже если б жертвы той войны
Последними на этом свете были, —
Смогли б ли мы, оставив их вдали,
Прожить без них в своём отдельном счастье.*

То есть, даже если бы больше не было бы войн, и нам уже не нужны были бы героические образцы смерти за страну, всё равно бы память о мёртвых была бы нам необходима. И он даёт свой ответ:

*Что ж, мы трава? Что ж, и они трава?
Нет. Не избыть нам связи обоюдной.
Не мёртвых власть, а власть того родства,
Что даже смерти стало неподсудно.*

Вот в этих строках заключён личный ответ поэта о смысле и значении этой памяти. Он, конечно, совсем не рационален и нелинеен, я бы сказал, что он архаически религиозен, он утверждает отличие человека от биологического мира в том, что человек способен признавать власть родства с мёртвыми над собой, над своим естественным желанием жить «в своём отдельном счастье».

Безусловно, в этих строках гениального поэта, которые я, как ученик Евгения Львовича Шифферса, признаю голосом народа, звучит протест против доминирующей сегодня концепции воспитания и концепции общества, согласно которой «если каждому по отдельности хорошо, то хорошо и всему обществу». Это, конечно, альтернатива, но это и альтернатива официальной социалистической (и антииндивидуалистической) концепции, потому что здесь утверждается продолжающаяся жизнь мёртвых через сохраняющиеся формы родства. Поэтому я бы назвал это стихотворение и многие другие, посвящённые как теме войны, так и другим темам, связанным с памятью о мёртвых, стихотворениями проторелигиозными, фиксирующими какой-то архаический уровень религиозного самосознания.

1 Вечная память. Литургическое богословие смерти // О.А. Седакова. Поэтика обряда. Погребальная обрядность восточных и южных славян. — М.: «Индрик», 2004. С. 278. Следует отметить, что этот выдающийся исследователь славянских обрядов (а с недавних пор и церковнославянского языка) в этой книге одна из первых указала на существование в русской литературе XX века архетипичной темы общительности мертвых и живых.





Но что составляет содержание этого родства? Это очень интересный вопрос, с которого бы я, собственно, начал говорить с детьми в школе. Это стихотворение и стало началом целого цикла занятий по русской поэзии советского периода, который я веду в школе № 1314 примерно с 2008 года. Уже выпущены два класса, сейчас я веду занятия в третьем, но уже на материале стихотворений Осипа Мандельштама и Арсения Тарковского. Почему именно с этого вопроса должна начинаться учебная ситуация? Потому что ответ на этот вопрос не очевиден и уже требует перехода от простого (или непростого) понимания стихотворного текста к формулированию встречного личного мыслительного акта и самоопределения. В результате этих диалогов с учащимися 11-х классов я выработал свою точку зрения, но, уверен, что она не единственна. Я её озвучу бездоказательно, потому что доказательство требует отдельного доклада.

Для меня смыслом родства с мёртвыми, которое транслируется памятью, является забота и воспроизводство русского слова, которое нас объединяет не только с умершими, но и с будущими поколениями. Собственно, именно это впрямую и говорит Анна Ахматова (хотя не только она), поэт, который перенёс до и после войны такую боль потерь и несправедливость власти, для которой война могла

бы казаться мстью за эту боль, и которая, как и многие в то время «умиравшие в страданиях как Марсий, с которого содрали шкуру». Ахматова написала не так уж много стихотворений о войне, но в одном она выразила тот же смысл и тот же голос исторической общности русского народа — умерших, умирающих, живущих и ещё не рождённых:

*Мы знаем, что ныне лежит на весах
И что совершается ныне.
Час мужества пробил на наших часах,
И мужество нас не покинет.
Не страшно под пулями мёртвыми лечь,
Не горько остаться без крова,
И мы сохраним тебя, русская речь,
Великое русское слово.
Свободным и чистым тебя пронесём,
И внукам дадим, и от плена спасём
Навеки.*

(Февраль 1942 года.)

Обратите внимание — не государство, не землю, не дело Ленина, даже не православию, но русское слово. Которое внукам надо передать как то, за что не страшно умереть. Вот, на мой взгляд, именно такие необычные пути от военно-исторической тематики к литературе и наоборот могут проходить дети в школе, а мы, как детоводители — педагоги — должны научить их по ним ходить и чувствовать силу и бесстрашие от родства с мёртвыми, память о которых, как минимум, убержёт их от ужасов информационных войн современности.